

Н О В Ы Й
ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ВСѢХЪ.

1912г.

МАРТЪ

№ 3

Новости литературы.

„Уходъ“ Толстого по его посмертнымъ произведеніямъ. — Письма Чехова.

Статья Е. Колтоновской.

«Посмертныя записки старца Федора Кузьмича» *)—двойная радость. Это большая художественная радость, удивительно яркій лучъ закатившагося солнца... И, кромѣ того, это еще радость внутренняя, психологическая—радость новаго проникновенія въ душевный міръ Толстого, даже въ его интимную жизнь. Пожалуй, этотъ отрывокъ красно-рѣчивѣе всѣхъ прочихъ посмертныхъ произведеній великаго писателя говоритъ намъ о немъ, о его драмѣ, какъ философа и человѣка, завершившейся незадолго до смерти «уходомъ». По внутреннему смыслу этотъ очеркъ глубоко субъективенъ, несмотря на свое объективное, историческое содержаніе, воплощенное спорную легенду.

Спорность легенды не должна была смущать Толстого. Въ художественныхъ произведеніяхъ онъ всегда цѣнилъ не фактическую, описательную сторону, а моральную. «Правду узнаеть не тотъ, кто узнаеть только то, что было, есть и бываетъ, а тотъ, кто узнаеть, что должно быть»...

Должное для Толстого—побѣда въ человѣкѣ душевныхъ интересовъ надо всѣмъ—воплощено и въ этомъ посмертномъ очеркѣ. Толстого увлекла народная легенда о высокопоставленномъ мужѣ, который во имя нравственныхъ исканій отрекся отъ свѣта и всѣхъ благъ, связанныхъ со своимъ привилегированнымъ положеніемъ, «ушелъ» и, сосланный въ Сибирь, какъ бродяга, кончилъ дни въ безвѣстности и лишенияхъ. По одному изъ вариантовъ народнаго преданія, этотъ высокопоставленный мужъ былъ никто иной, какъ императоръ Александръ I, будто бы тайно осуществившій свое давнишнее желаніе оставить престолъ... Въ такомъ видѣ и использовалъ Толстой для своихъ цѣлей эту легенду. И въ рукахъ великаго мастера она зажила интенсивною жизнью, заискрилась самоцвѣтными камнями...

Какъ мало значенія придавалъ писатель истори-

ческой достовѣрности своего сюжета и какъ оберегалъ свой внутренній замыселъ—показываетъ его собственное письмо. Оно было имъ послано Вел. Кн. Николаю Михайловичу, когда онъ сообщилъ Толстому о результатахъ своего историческаго изслѣдованія легенды о Федорѣ Кузьмичѣ. «Пускай исторически доказана невозможность соединенія личности Александра и Кузьмича, легенда остается во всей своей красотѣ и истинности»... *)

Толстой дорожилъ всякой деталью своего замысла, нужной ему для того, чтобы правдиво и съ полнотою воплотить «должное»—необходимость «ухода» для своего героя. Историческое изслѣдованіе доказало ему, что онъ былъ неправъ, изобразивъ отрицательными чертами жену своего героя; но ему было жаль разстаться съ нарисованной имъ картиной въ виду того, что она художественно обуславливала «уходъ» его героя. Въдѣ, философское исканіе истины и равнодушіе ко всему тому, что стоитъ въ сторонѣ отъ этого исканія, это—одно, а помѣхи къ этому исканію, ненависть къ обстановкѣ, которая глубоко противорѣчитъ нравственнымъ требованіямъ искателя истины,—другое. Толстому, очевидно, нужно было отмѣтить существованіе такихъ ненавистныхъ помѣхъ, увеличивавшихъ трагизмъ положенія и остроту переживаемой имъ драмы**).

Будучи равнодушнымъ къ исторической достовѣрности, Толстой, какъ художникъ, далеко не былъ равнодушенъ къ своему историческому матеріалу. Онъ ожилъ у Толстого, какъ у волшебника, получилъ душу. Обстановка, окружающая его героя, историческій «быть» у Толстого несравненно ярче и колоритнѣе, чѣмъ у специалиста по этой части—Мережковского. Каждый штрихъ у него внутренне правдивъ и убѣдительно, рисуетъ возможное, даже должное...

*) «Рус. Бог.» кн. 2, стр. 83.

***) См. очень интересное примѣчаніе Черткова тамъ же, стр. 11.

Но суть, конечно, не въ колоритѣ эпохи, не въ исторической правдоподобности и вѣрности быта, а въ психологii героя, который гораздо больше похожъ на самого Толстого, чѣмъ на историческаго Александра. Это тотъ самый человѣкъ, который съ проникновенною мудростью говорить о себѣ: «я не знаю, откуда я пришелъ, но я знаю, что я всегда былъ и всегда буду, не могу исчезнуть!»... Если въ человѣкѣ есть такая безсмертная сущность, не зависящая отъ внѣшней оболочки, непреходящая, то естественна и забота о ней, признание ея самой важной, единственно важной. Что значать, по сравненiю съ ней, всѣ внѣшнія преходящія радости, доставляемая жизнью тѣла, что значать внѣшнія дѣла людей, весь мiръ? Нужна только забота о своемъ внутреннемъ безсмертномъ «Я», которое является частью Божества и должно осуществлять на землѣ его законы...

Эти коренныя толстовскія мысли лежать въ основѣ психологii императора Александра.

Не только въ основѣ психологii, но и во всѣхъ ея аксессуарахъ у героя записокъ необыкновенно много общаго съ Толстымъ. Художникъ внушаетъ ему не только свою коренную моральную идею, но и свои приемы ея анализа, и всѣ оттѣнки своихъ переживанiй. Какъ и моралистъ-Толстой, его герой стремится къ полной искренности и гармонii съ собой, по неизбѣжно испытываетъ постоянный разладъ: невольно рисуется и глубоко страдаетъ отъ этой рисовки. Въ юности, какъ и у другихъ героевъ Толстого (какъ и у самого Толстого), рисовка и связанное съ ней затаенное самолюбованiе являются преобладающимъ мотивомъ психологii. Въ зрѣлости же, по мѣрѣ приближенiя къ старости, послѣ долгой душевной борьбы, страданiе, причиняемое рисовкой, начинаетъ преобладать надъ самой рисовкой. Герои не столько рисуются, сколько отдаются чувству дѣйствительнаго недовольства собой, вызываемаго этой привычкой рисоваться. Что это? Побѣда, желанное просвѣтлѣнiе? Или просто усталость?

Это вотъ стремленiе—все дѣлать не для людей, а для себя, для *своего* Бога—является основнымъ въ ревнивой индивидуалистической душѣ толстовскихъ героевъ.

Говорятъ, что индивидуализмъ—растение чужеземное, европейское, что онъ намъ, русскимъ славянамъ, вообще, несвойствененъ... Говоря это, вѣроятно, забываютъ о гигантѣ-индивидуалистѣ Толстомъ.. Конечно, индивидуализмъ его особенный, болѣе сложный и глубокий, озаренный свѣтомъ моральныхъ исканiй (можетъ быть, въ этомъ и заключается его славяно-русская окраска), но все же это чистѣйшiй индивидуализмъ. Разладъ и борьба толстовскихъ героевъ объясняются титаническимъ размахомъ всевозможныхъ стремленiй ихъ яркаго «Я», трудностью удержать его многостороннее проявленiе и

заключить въ опредѣленные рамки нравственнаго закона. Впечатлительное, безмѣрно развитое «Я» толстовскихъ героевъ—не обыденное, узенькое человеческое «Я», могущее по прихоти и произволу проявлять себя и въ этомъ находящее содержанiе жизни. Оно—частица Божества, и это обязывасть. Жизнь человеческая не принадлежитъ человѣку. Онъ лишь орудiе высшей силы, ея невѣдомыхъ цѣлей. Задача его—угадать свое предназначенiе и согласно ему устроить свою жизнь.

Не себѣ одному принадлежитъ человѣкъ и не можетъ безконтрольно хозяйничать на землѣ. Онъ лишь «виноградарь», которому владѣлецъ сдалъ свой виноградникъ, съ тѣмъ, чтобы онъ воздѣлывалъ его, а плоды отдавалъ хозяину... Такова святая святыхъ толстовской философи. Это мысль всеобъемлющей глубины и широты, пригодная для каждаго, кто почувствовалъ потребность въ подчиненii себя нравственному закону. Но толстовские герои на высотѣ ея не удержались. Они привнесли въ нее пѣчто случайное и слишкомъ частное, напр.—раздраженiе противъ своей привилегированной среды, противъ высшихъ классовъ, живущихъ въ роскоши и праздности, а, слѣдовательно, и необходимость разрыва съ окружающей обстановкой, «ухода», всяческаго отреченiя, воздержанiя, аскетизма.

Казалось бы, если человѣкъ божественнаго происхожденiя, то онъ вездѣ, во всѣхъ условiяхъ, сумѣетъ устроить свою жизнь согласно съ божескимъ закономъ. Но герои Толстого могутъ сдѣлать это, только поравнши со всѣми «соблазнами» мiра. А что такое соблазнъ? Оказывается, что соблазнъ—всѣ конкретныя проявленiя божественнаго человѣка на землѣ, его собственная форма! Ясно, что форма неотдѣлима отъ содержанiя, что благоуханная жидкость не можетъ содержаться въ поганомъ сосудѣ... Но для Толстого это не такъ. Онъ глубоко впиталъ въ себя характерно-христіанское подраздѣленiе мiра на Добро и Зло. Для него—божественнаго происхожденiя лишь духъ человеческій, а брѣнное разрушающееся тѣло—не отъ Бога... очевидно, отъ дьявола. И отсюда—задачи борьбы человѣка съ собственнымъ тѣломъ, съ грѣховной оболочкой.

Путь борьбы нелегокъ для толстовскихъ героевъ, это длительная и мучительная трагедiя. Понятно—почему. Всѣ они—не убогіе, не уродцы; они—въ своего духовнаго отца Толстого, въ которомъ была ключемъ солнечная радость. Живымъ, острымъ и жаднымъ взоромъ Толстой-художникъ былъ способенъ ласкать всѣ оттѣнки красокъ на полевыхъ цвѣтахъ и съ уваженiемъ отмѣчать жизненную цѣбность полевого репейника («Хаджи-Муратъ»)... Какъ же было въ такомъ случаѣ не проявляться всѣми путями и способами его собственному богатому земному содержанiю? Непреодолимы были «соблазны» и путь по нимъ утомительно долгъ! Не сразу давалась побѣда...

Незадолго до «побѣды» герой Толстого, уже старецъ Федоръ Кузьмичъ, видитъ знаменательный символическій сонъ.

«И я заснулъ хорошо. Просыпался, какъ всегда, по старческой слабости разъ пять и видѣлъ сонъ о томъ, что купаюсь въ морѣ и плаваю, и удивляюсь, какъ меня вода держитъ высоко, такъ, что я совсѣмъ не погружаюсь въ нее, и вода зеленая, красивая, и какіе-то люди мѣшаютъ мнѣ, и женщины на берегу, и я нагой, и нелзя выйти. *Смыслъ сновидѣнія тотъ, что мѣшаетъ мнѣ еще крѣпость моего тѣла, но выходи близко».*

Не менѣе характеренъ и другой отрывокъ дневника старца, относящійся ко времени почти полной побѣды надъ собой, надъ всѣмъ, что отвлекало героя отъ созерцанія въ себѣ Бога, отъ работы надъ своей душой.

«Я всегда желалъ и желаю. Желалъ прежде побѣды надъ Наполеономъ, умиротворенія Европы... И всѣ желанія мои или исполнялись и, какъ только исполнялись, переставали влечь меня къ себѣ, или дѣлались неисполними, и я переставалъ желать. Но пока исполнялись или ставовились неисполними прежнія желанія, зарождались новыя, и такъ шло и идетъ до конца....

«И мнѣ пришло въ голову, что если вся жизнь—въ зарожденіи желаній, и радость жизни—въ исполненіи ихъ, то нѣтъ ли такого желанія, которое свойственно бы было человѣку, всякому человѣку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорѣе, приближалось бы къ исполненію? И мнѣ ясно стало, что это было бы такъ для человѣка, который желалъ бы смерти...

«Сначала это мнѣ показалось страннымъ. Но, вдумавшись, я вдругъ увидалъ, что это такъ и есть, что въ этомъ въ одномъ, въ приближеніи къ смерти, разумное желаніе человѣка. Желаніе не въ смерти, а въ томъ движеніи жизни, которое ведетъ къ смерти. Движеніе же это есть освобожденіе отъ страстей и соблазновъ того духовнаго начала, которое живетъ въ каждомъ человѣкѣ. Я чувствую это теперь, освободившись отъ большей части того, что скрывало отъ меня сущность моей души, ея единство съ Богомъ, скрывало отъ меня Бога. Я пришелъ къ этому безсознательно. Но если-бы я поставилъ своимъ высшимъ благомъ (а это не только возможно, но такъ и должно быть), считалъ бы своимъ высшимъ благомъ освобожденіе отъ страстей, приближеніе къ Богу, то все, что придвигало бы меня къ смерти—старость, болѣзни, было бы исполненіемъ моего единственнаго и главнаго желанія».

Сила толстовскаго духа въ преслѣдованіи правдивой цѣли и строгая ясность въ самой постановкѣ проблемы—гениальны. Но выводы изъ этой проблемы могутъ быть различны. Трагическій мотивъ борьбы съ собой, насилія надъ собой и полнаго

аскетическаго отреченія отъ жизни—не связаны съ сущностью моральной проблемы, поставленной Толстымъ.

Онъ является слѣдствіемъ очень спорнаго утвержденія о враждебной двойственности человѣческой природы, о борьбѣ въ ней божественнаго духа съ грѣховной плотью.

Этотъ трагическій мотивъ сопровождаетъ всѣ моральныя исканія героев Толстого. Не менѣе полно, чѣмъ въ «Запискахъ Федора Кузьмича», онъ выраженъ въ другомъ посмертномъ разсказѣ: «Отецъ Сергій». Герой его то же лицо, принадлежащее къ привилегированному кругу; во имя душевныхъ запросовъ и потребности искать Бога, онъ съ этимъ кругомъ порываетъ и идетъ въ монахи. Но и въ монашеской одеждѣ сердце о. Сергія бьется беспокойно, для него мучительна борьба съ соблазнами (въ борьбѣ съ «женскимъ соблазномъ» онъ однажды отрубилъ себѣ палецъ!). Самомучительство и подвиги его такъ велики, что его заживо причисляютъ къ святымъ и приписываютъ ему власть творить чудеса. Трудно о. Сергію обрѣсти покой. Среди монаховъ, какъ прежде среди высшаго общества, онъ испытываетъ глубокой душевный разладъ. Дѣло, значить, не въ обстановкѣ!.. Вѣщій сонъ посылаетъ о. Сергія къ его знакомой Пашенькѣ, которую онъ не видалъ съ дѣтства. И тутъ-то раскрывается сущность его недостатка собой—такого же, какъ и у другихъ героев Толстого. Пашенька, прожившая несчастную, невзрачную жизнь, полную лишеній и заботъ о другихъ, и *несколько этимъ не рисующаяся*, оказывается для героя идеаломъ.

«Такъ вотъ что значилъ мой сонъ. Пашенька—именно то, что я долженъ былъ быть и чѣмъ я не былъ. Я жилъ для людей подъ предлогомъ Бога, она живетъ для Бога, воображая, что она живетъ для людей»...

Какъ и герой «Записокъ Федора Кузьмича», о. Сергій кончаетъ полнымъ отреченіемъ и смиреніемъ. Онъ «уходитъ» даже отъ монаховъ, отъ собственнаго затворничества. Онъ питается Христовымъ именемъ и тоже за бродяжничество ссылается въ Сибирь, гдѣ и умираетъ въ полной безвѣстности.

Оба разсказа передаютъ и хорошо раскрываютъ сущность философской и душевной драмы, предшествующей у Толстого его «уходу». Въ посмертной пьесѣ «И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ» нарисованъ тотъ житейскій укладъ, который всѣми своими особенностями долженъ былъ обострить эту драму. Къ сожалѣнію, недостатокъ мѣста мѣшаетъ мнѣ сдѣлать выписки изъ потрясающихъ семейныхъ сценъ, въ которыхъ льется живая кровь Толстого. Судя по этому, несомнѣнно, субъективному произведенію, обстановка жизни великаго писателя передъ уходомъ была ужасна. Трудно и представить себѣ большую степень непониманія и разницы взглядовъ и чувствъ, чѣмъ

та, которая чувствуется между нимъ и окружающими.

«Маша, я не нуженъ тебѣ. Отпусти меня!—проситъ герой толстовской пьесы свою супругу, ярко выраженную библейскую Марю, со всеми ея ультра-земными вкусами и заботами—Я пытался участвовать въ вашей жизни, внести въ нее то, что составляетъ для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходитъ только то, что я мучаю васъ и мучаю себя. Не только мучаю себя, но гублю то, что я дѣлаю. Мнѣ всякій имѣетъ право сказать и говорить, что я обманщикъ, что я говорю, но не дѣлаю, что я проповѣдую евангельскую бѣдность, а самъ живу въ роскоши подъ предлогомъ, что я отдалъ все женѣ». Отпустить, оказалось, не такъ-то легко. И «суходу» предшествуетъ рядъ бесплодныхъ разговоровъ на разныхъ языкахъ.

Неблагоприятно сложившіяся личныя обстоятельства, обострившія драму Толстого, не были случайностью. Они стоятъ въ связи съ его природой и мировоззрѣніемъ. Только такой, всецѣло поглощенный собой, индивидуалистъ, какъ Толстой, могъ создать для себя кошмарную, чудовищно неподходящую обстановку. Только моралистъ-христианинъ, съ его пренебреженіемъ къ внѣшнему устройству жизни, къ земной, конкретной формѣ вещей, могъ ее терпѣть въ теченіе столькихъ лѣтъ...

Когда въ печати появятся дневники великаго писателя, они, вѣроятно, полностью раскроютъ и его философско-религиозную драму, и личную.

Другой выдающейся литературной новинкой являются «Письма Чехова», впервые изданныя тщательно и любовно—родственной рукой. До сихъ поръ этимъ богатствомъ пользовались у насъ шарлатаны для набиванья своихъ кармановъ.

Какъ страненъ и неожиданъ переходъ отъ Толстого, съ его конфликтами и диссонансами, къ простому и цѣльному, безыскусственному Чехову! Чувствуешь себя такъ, какъ-будто послѣ гипнотизирующей проповѣди въ душной комнатѣ вдругъ очутился на свѣжемъ воздухѣ... Вдыхаешь полной грудью и удивляешься, какимъ образомъ сразу разсыялся кошмаръ, и страхъ, и тоска отъ самоистязанія? Все вокругъ тихо и мирно. Все прекрасно. А отдѣльные диссонансы и недочеты въ себѣ и окружающемъ только отбѣиваютъ гармоничность цѣлаго, величіе прекраснаго замысла Творца...

Если и у Чехова есть свои конфликты, своя борьба, то это такъ глубоко, что мы не можемъ видѣть ихъ. Мы имѣемъ съ нимъ дѣло, какъ съ необыкновенно цѣльной личностью, стремящеюся жить всеми дарованными ей силами—въ тѣхъ возможностяхъ и предѣлахъ, которые ей даны. Черезъ всѣ письма

красной нитью проходитъ полу-шутливо выраженный девизъ: «Жизнь коротка... надо ею пользоваться!» Онъ любилъ жизнь. Любилъ и людей—безъ страстей и безъ бурь, ровною, свѣтлосвятою любовью. Они были ему «необходимы».

Первый томъ писемъ обнимаетъ первый періодъ жизни и дѣятельности (отъ 1878 до 1887 г.). Они больше говорятъ о Чеховѣ-человѣкѣ съ необыкновенно нѣжной, богатой, полнозвучной душой, чѣмъ о Чеховѣ-писателѣ. Въ нихъ онъ еще Чехонте, прочно связанный съ «Осколками» (больше всего писемъ адресовано Лейкину), опирающийся на первую крупную газету—«Новое Время». Но и для характеристики будущаго серьезнаго литератора здѣсь не мало материала. Дѣло въ томъ, что въ юномъ, безпечномъ юмористѣ Чехонте всегда жилъ будущій несравненный, обаятельный сердцецвѣдъ Чеховъ. Особенно интересны послѣднія письма, гдѣ Чеховъ фактически на порогѣ новой серьезной литературной жизни, новыхъ знакомствъ съ «идейными писателями»—Короленкомъ, Михайловскимъ и др.

Замѣчательно въ такомъ молодомъ писателѣ трезвое, критическое отношеніе къ себѣ, къ своему литературному настоящему. «Изъ всѣхъ нынѣ благополучно пишущихъ россианъ я самый легкомысленный и не серьезный; я на замѣчаніи, выражаясь языкомъ поэтовъ, свою чистую музу я любилъ, но не уважалъ, измѣнялъ ей и не разъ водилъ ее туда, гдѣ ей не подобаешь быть»,—пишетъ онъ Короленко. Еще опредѣленнѣе этотъ критицизмъ въ письмѣ къ Григоровичу: «Доселѣ относился я къ своей литературной работѣ крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего разсказа, надъ которымъ я работалъ бы болѣе сутокъ, а «Егеря», который вамъ понравился, я писалъ въ купальнѣ! Какъ репортеры пишутъ свои замѣтки о пожарахъ, такъ я писалъ свои разсказы: машинально, полубезсознательно, ни мало не заботясь ни о читателѣ, ни о себѣ самомъ... Писалъ и всячески старался не потратить на разсказъ образовъ и картинъ, которые мнѣ дороже и которые я, Богъ знаетъ почему, берегъ и тщательно пряталъ».

Этотъ горячій отвѣтъ на сочувственное письмо Григоровича показываетъ, какъ цѣнилъ молодой Чеховъ поддержку старыхъ литераторовъ.

Письма очень живо рисуютъ Чехова. Въ его обликѣ (и писательскомъ, и человѣческомъ) поражаетъ цѣльность и полнота жизни, обиліе внутреннихъ связей съ міромъ и необыкновенно развитое въ немъ чувство мѣры, которое такъ рѣдко встрѣчается и въ русской литературѣ, и во всей русской жизни.

Е. Колтоновская